

# ПИСЬМО Н. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА Н. П. ОГАРЕВУ

Публикация С. Переселенкова

В мае 1860 г. Н. А. Огарева, со своей дочерью Лизой, которой тогда не исполнилось еще двух полных лет, покинула Лондон и отправилась в Дрезден, где должна была встретиться с Сатиными, ради нее прибывшими из России. Проведя с ними лето в Германии, она, по отъезде их на родину, пересекла в Швейцарии и порешила обосноваться на зиму в Берне. Не хотела она возвращаться обратно в Лондон из-за семейной разлады, принявшей за последний год особенно острый характер и доставлявшей много страданий как ей самой, так и Герцену, а особенно Огареву.

В начале зимы этого года она написала Герцену, что в их семейные дела «вмешался» Н. А. Серно-Соловьевич; что такое «вмешательство» для нее «больно, но все-таки с ним [т. е. с Серно-Соловьевичем] нельзя поступать, как с посторонним»; что он «не хочет видаться с ними, прежде чем они узнают его взгляд на все это». А взгляд свой на «все это» высказал Серно-Соловьевич в письме к Огареву, которое она долго не решалась переслать по назначению. Когда же, наконец, письмо было послано в Лондон, она умоляла Герцена «отстранить», насколько возможно, Огарева «от всего неприятного» и «не печалить» его. «Боже мой, — писала она в отчаянии, — когда же я перестану даже невольно быть казнью для него?»

Письмо, о котором говорит Огарева, до сих пор не было опубликовано. Подлинник его, хранящийся в настоящее время в Институте литературы Академии Наук СССР (Пушкинском Доме), написан чрезвычайно неразборчивым почерком, трудно поддающимся чтению. Неразборчива и подпись под ним. Тем не менее на принадлежность его Н. А. Серно-Соловьевичу указывает отмеченное нами ниже совпадение одного места в нем с воспоминаниями Огаревой. Кроме того, две первые, несомненно прописные, буквы подписи очень похожи на Н. С. Наконец, самое содержание его указывает, что это именно то самое письмо, о котором извещала Герцена Огарева.

Когда в начале 1860 г. Н. А. Серно-Соловьевич впервые познакомился с Герценом и Огаревым, он уже пользовался широкою известностью, как человек, имевший мужество два года тому назад подать лично Александру II записку, в которой резко «объяснял ему, что дело освобождения не идет». «Наш последний маркиз Поза», как назвал Серно-Соловьевича Герцен, произвел на него и Огарева глубокое впечатление своим открытым «необыкновенно благородным» характером и горячею преданностью общественному делу. «Н. А. Серно-Соловьевич, — характеризовал его несколько позже Герцен, — принадлежит к числу тех избранных на мученичество лиц, которые спокойно идут своей дорогой и ясно смотрят в глаза беснующимся судьям; перед этими людьми власть срезывается и потому неохотно поднимает на них руку. Их нельзя, по поучительному примеру Тиверия, осквернить в тюрьме, чтоб сделать достойным казни»<sup>1</sup>. По своей нравственной красоте он напоминал Герцену Грановского<sup>2</sup>.

Несмотря на большую разницу в годах, знакомство Н. А. Серно-Соловьевича с Герценом и Огаревым быстро перешло в дружеские отношения, что дало право ему вмешаться в их семейные дела. Как видно из письма к Огареву, он и на этот раз остался во многих отношениях верным себе — таким же, каким представляется

нам в характеристике Герцена и каким является перед своими «врагами, заклятыми консерваторами по положению, членами Государственного Совета, которых он поражает доблестью, простотой и геройством»<sup>3</sup>.

Какое впечатление произвело письмо Серно-Соловьевича на Герцена — нам неизвестно; неизвестно даже, показывал ли его Герцен Огареву. Достоверно только то, что оно послано было в Лондон уже после того, как в семье Герцена — Огаревых уладились семейные раздоры или, справедливее сказать, заключено было перемирие<sup>4</sup>. Вот что писал Герцен своему сыну и Огаревой от 16 ноября 1860 г.: «Саша, дай твою руку, — я тебя благодарю за благородное, юное, прекрасное письмо. Ты мне доставил минуту полного счастья, — я уважаю в тебе уж не только сына, но друга в глубоком смысле. Я благодарю тебя за эту минуту гордости тобой. Все кончено, все прошедшие вины и недоразумения стерты. Я, чтоб тебя наградить, тебе пишу эти строки. Святое, полное примирение с Natalie — и начнем свежими силами новую жизнь. Natalie, я тебя зову от чистого сердца, тронутый и потрясенный, но с полным сознанием. Я тебя зову к нам. Все забыто. Не поминай и ты. Я и Ог[арев], мы рыдали над Сашиним письмом, да, рыдали. Ог[арев] вышел на воздух, я схватил перо тебе написать, что я умоляю тебя, прошу тебя именем Лизы: ни словом, ничем не поминая прошедшего, возвратись в твою семью, — и больше не могу сегодня написать»<sup>5</sup>.

Остается открытым вопрос, зародилась ли у А. А. Герцена мысль написать отцу о примирении с Натальей Алексеевной самостоятельно и не явилась ли она у него под влиянием Н. А. Серно-Соловьевича, войти в близкие отношения с которым Александр Иванович не раз настойчиво рекомендовал своему сыну<sup>6</sup>?

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> «Русские Пропилеи», т. IV, М., 1917 г., стр. 261.

<sup>2</sup> Герцен, т. XVIII, стр. 165.

<sup>3</sup> Там же, стр. 375.

<sup>4</sup> 3 декабря 1860 г. «Русские Пропилеи», т. IV, М., 1917 г.

<sup>5</sup> Герцен, т. X, стр. 457—458.

<sup>6</sup> Там же, стр. 233 и 303.

Ахен, 19 ноября 1860 г.

Дорогой друг! Решаясь писать вам это письмо, я долго взвешивал все данные за и против; следственно оно дело не увлечения, не вспышки, не сентиментальности, а серьезного зрелого размышления. Предвижу могущие встретиться возражения и постараюсь заранее дать на них ответ; сознаю возможность неудовольствий, но не боюсь итти им навстречу, исполняя то, что считаю долгом совести. Вы уже, конечно, догадались по этому приступу, что речь идет о Наталье Алексеевне. Мне можно на первых же порах заметить, что я мешаюсь не в свои дела, не имея на то никакого права. Это весьма важное, если не единственное возражение против меня, и потому я особенно налягу на него. Вы первый дали мне имя друга, и я счел это не пустой фразой, тем более что уже давно, прежде чем вы даже знали о моем существовании, мы были свои по чувствам, убеждениям и цели, достижение которой поставили главной задачей жизни; это родство добровольное, по моему, гораздо важнее случайного, по крайней мере дает большие взаимные права и налагает крупнейшие обязанности. Вот мой первый довод. Второй, это что ваше положение не подходит под общую рамку. Вы сами и ваша деятельность не принадлежат вам одним; у вас в руках знамя, следственно вы связаны ответственностью перед всеми, которые пришли под это знамя. Эта ответственность простирается не только на публичную, общественную жизнь, но и на частную, домашнюю. Такой контроль был бы невыносим для людей старого берега, но мы, пустившиеся вплавь, должны видеть в нем свою истинную силу и

одно из коренных оснований нового порядка. Мы разрушаем и создаем, следственно от нас могут требовать отчета и приверженцы старого и друзья нового; нам могут верить только тогда, когда мы неуклонно следуем тем правилам, которые хотим сделать господствующими. Но рожденные в предрассудках, всосавшие их с молоком, воспитанные в них, прожившие с ними молодость, мы невольно и часто не замечая того, отклоняемся от пути: поэтому, мы необходимо должны контролировать друг друга, чтоб немедленно подать руку помощи в трудные минуты. Взвесьте, дорогой друг, все эти побуждения, разберите их пристально, развеите — чего всего нельзя сделать в письме — и вы верно скажете, что я прав.

Вот что я передумал много раз прежде чем принялся за перо; теперь расскажу, что слышал, видел, перечувствовал, что привело меня к таким мыслям.

На пути в Италию я узнал, что Наталья Алексеевна в Германии. Это нисколько не удивило меня, так как поездка могла быть объяснена многими соображениями. Возвратясь в Женеву, поехал к Фогту. Там говорят мне, что Н[аталья] А[лексеевна] в Берне, что вы зовете ее в Лондон, но она упрямится. Это просто ошеломило меня: выбор Берна зимним местопребыванием, в то время как вы в Лондоне, не мог быть ровно ничем объясним, разумно, как семейной разладицей. Возможность последней, никогда мне и в голову не приходившая, потрясла меня до глубины души; высшего несчастья и придумать трудно. Я položил себе, при свидании с Н[атальей] А[лексеевной] разубедить ее, доказать, какой триумф она доставляет нашим врагам. Первая наша встреча была на террасе; сильно студило, она дрожала в легоньком бурнусе. Зная уже как я объясняю себе ее присутствие в Берне, она принялась доказывать мне неосновательность моего предположения, и это с таким мужеством и самообладанием, что непременно достигла бы своей цели, если б была хоть малейшая возможность логически объяснить совершенно противологический факт; на все ее доводы и уверения рассудок отвечал мне — это не так. Я ушел с прежним убеждением, только уже не виня ее. Вечером пошел к ней — этого вечера я долго не забуду. Если бы вы могли быть, невидимкой, с нами, дорогой друг, вы крепко досадовали [бы] на себя. Сидя в этой комнате, перегородженной на двое, я в какой-нибудь час измерил сердцем и головой сколько должна тут страдать несчастная женщина. Она не только не жаловалась, но напротив, продолжала утреннюю роль, говоря что вовсе не особенно несчастна здесь, что разлука временная, что это послужит к лучшему в будущем, что видит многие свои ошибки и т. п. — но глаза изменяли ей и несмотря на все ее усилия владеть собой, слеза беспрестанно пробивалась сквозь ресницу. — То что Герцен писал императрице, а вы относили в Предисловие к VIII кн. «Голос[ов]» к государю, я, перефразируя, повторю вам обоим: вдумайтесь ради всего в жизнь, на которую осуждена теперь эта женщина и дайте себе отчет, спрося только собственное сердце, что она должна выстрадать в течение каждых суток. Дайте себе ясный отчет, умоляю вас, что за невыносимая жизнь женщине, одной, в чужой стороне, среди чужих! Нескончаемые, холодные, сырые дни тянутся непрерывной вереницей, принося один как и другой одиночество, тоску, грусть, горе, физические лишения, душевные терзания, оскорбленное и быть может оскорбляемое самолюбие. Да всех страданий и не перечтешь. Будучи в Лондоне, я часто подмечал у вас обоих тоску по России... Подумайте же, если вы, мужчины, погруженные в дело, имеющие призвание, знающие, что каждый час вашей работы приносит громадную пользу, чувствуете как зачастую щемит сердце — что же должна ощущать женщина, оторванная от родины, дважды от

семьи, одна, без призвания, без всякого дела? Страшно подумать, если бы самому пришлось быть в таком положении! Близость молодого Герцена не большой ресурс, так как он занят с утра до ночи; Фогтовская семья, бесспорно, великолепно, но все же своей не заменит. К тому же, вероятно, Н. А. и не ищет особенно бывать с ними; для женщины в таком неестественном положении должно быть невыносимо всякое постороннее общество, потому что во всяком взоре она должна встретить или обвинение или сожаление — и то, и другое равно оскорбительно. Вдобавок: незнакомый язык, неизбежные пересуды и сплетни окружающих, быть может отражающиеся в обращении — право есть с чего сойти с ума! Я решительно не могу придумать преступления, за которое можно было бы, при наших убеждениях, осудить женщину на такие страдания. Разумеется, ни она не намекнула мне, что страдает сверх сил, ни я не показал ей, что мне ясно ее положение, но вам, дорогой друг, не могу не сказать, что до сих пор не могу вспомнить подобной участи без того, чтобы сердце не наполнилось горечью.

Возьмем теперь другую сторону медали. Конечно, для наших врагов не может быть большего торжества и сильнейшей причины радоваться и ликовать: у них в руках положительный факт, чтобы громить нас. Отсутствие Н[атальи] А[лексеевны] из Лондона разумеется не может остаться тайной; сотням людей, посещающих вас, оно непременно должно броситься в глаза, да к тому же, если в обществе беспрестанно передаются семейные и другие сплетни о людях неизвестных и ему совершенно незнакомых, как же может быть, чтобы не знали, что происходит у вас, за которыми следят сотни тысяч глаз. В комментариях этому отъезду недостатка не будет, те которые уже распускали о вас тысячу нелепиц, которые сторожат малейший повод, чтобы швырять в вас камнями и грязью, разумеется не упустят такого великолепного случая, тем более, что в сущности — чуть только отсутствие Н[атальи] А[лексеевны] продлится несколько времени — невозможно и придумать никакого вероподобного объяснения ему, как семейные неприятности. Пойдут бесконечные отвратительные сплетни, действие которых будет тем сильнее, что они будут опираться на факт. Черня лично вас, будут клеветать и марать нашу общую святыню — наши убеждения и начала. И нам только нечего будет отвечать, потому что при каждом слове будет приправа: «Огарев бросил жену и ребенка», «жена Огарева не была в состоянии выносить жизнь с ним» и т. п. Что ни возражай, как ни объясняй дело — за них будет факт вашей разлуки.

Наконец — чтобы уже высказать вам разом, дорогой друг, все что так тяжело давит сердце — в тысячу раз больше и губельнее всех возможных клевет и сплетень то горькое и тяжелое чувство, которое должен испытать каждый в нашем небольшом лагере, видя у вас семейную разладицу. Я, по крайней мере, не знаю вашего несчастья. До тех пор пока мы непоколебимо верим друг в друга, нам не страшны никакие обвинения; но как только в собственных сердцах пошатнется вера — все пропало. А вера может пошатнуться, потому что пьедестал, на котором вы так чудно стоите, оббивается теперь не врагами, а вами самими. В семейных делах судей быть не может, но наверно всегда есть доля вины на обеих сторонах; можем же ли мы равнодушно видеть, что всю тяжесть неприятностей несет одна, слабейшая? Как бы вина ни была велика, и наши социальные понятия, и исключительность положения, и простое благоразумие предписывают снисхождение и великодушие для того, чтобы быть последовательным и не доставить торжества врагам; если же нет ничего особенно серьезного — такой образ действий был бы непростителен даже людям деспотизма. Поверьте мне, дорогой друг, если б даже право было безусловно на ва-

шей стороне, в глазах ваших друзей вы не можете быть правы нравственно. Я сужу по себе. Конечно, сильнее любить вас, быть с вами более заодно как я — невозможно. И до чего меня коробит, как подумаю о Н[атальи] А[лексеевне], я и сказать не умею. Что же скажут другие, более или менее равнодушные? Умоляю вас, во имя всего, что вам дорого, во имя наших убеждений и того дела, за которое вы уже столько страдали и страдаете — прекратите это несчастное положение. Быть может, время еще не ушло, но оно летит на крыльях — а чем дальше в лес, тем больше дров. К тому же, по моему, страданий было уже столько, что надо спешить не днями, а часами, чтобы прекратить их.

Мне скоро пора домой, но конечно, прежде возвращения увижусь с вами: если хотите, Н[аталья] А[лексеевна] могла бы возвратиться к вам со мной, мы условились бы съехаться в Париже. — Как бы ни было, ваш ответ пожалуйста пришлите ей скорее: из этого письма вы поймете до чего мне тяжело и до чего я люблю вас. Не сомневаюсь, что сердце и рассудок ваши будут согласны со мной? — Крепко, крепко жму руки.

Ваш Н. Серно-Соловьевич.